

Владимир
ВОЙНОВИЧ

*Монуменральная
пропаганда*



АЗБУКА

Санкт-Петербург

Пролог

Я открыл конверт, из него выпала кривая газетная вырезка площадью в спичечный коробок. В траурной рамке группа товарищей из города Долгова с глубоким прискорбием извещала читателей о трагической гибели члена КПСС с 1933 года, участника Великой Отечественной войны, видной общественной деятельницы пенсионерки Ревкиной Аглаи Степановны.

Я удивился, решив, что кто-то прислал мне текст из прошлых времен. Но перевернул листок, прочел слова: «Новое в Интернете», «Пейджинговая связь» и «Налоговая инспек» (конец слова отрезан), удивился еще больше. Кому нужно поминать членство в КПСС в наше-то время?

Неизвестный, отправивший мне извещение, очевидно, предполагал, что равнодушным оно меня не оставит, и был прав. Я давно не бывал в Долгове, не знал, что Аглая достигла столь преклонного возраста, и с трудом представлял себе, как она могла жить в наши дни. Я немедленно отправился в Долгов, поселился в бывшем Доме колхозника, ныне гостиница «Континенталь», и прожил там недели две, опрашивая разных людей, которые знали хоть что-нибудь о последних годах Аглаи, или Оглашенной, Оглоедки, — ее имя люди по-разному переименовывали, приспособляя к характеру. Предыдущая ее биография была мне хорошо из-

вестна. Часть ее я изложил в «Чонкине» и в «Замысле». Повторяться не буду, но кратко напомним: будучи комсомолкой, юной и страстной, подправила документы, прибавила себе лет пять или больше и с головой окунулась в классовую борьбу. Верхом, в кожанке и с наганом носилась по здешней округе, богатых раскулачивала, бедных загоняла в колхозы. Потом заведовала детским домом, вышла замуж за секретаря райкома Андрея Ревкина, которым впоследствии пришлось пожертвовать ради высокой цели. Осенью 41-го года при входе в Долгов немецких войск Аглая взорвала местную электростанцию, откуда ее муж, закладывавший заряды, не успел выйти. «Родина тебя не забудет!» — крикнула она ему по телефону и сомкнула концы проводов.

Во время войны Аглая Степановна командовала партизанским отрядом, что было отмечено двумя боевыми орденами. После войны сама была секретарем райкома, пока ее не «съели» более хищные товарищи. Она вернулась на место довоенной деятельности и опять заведовала детским домом имени Ф. Э. Дзержинского. Где в феврале 1956 года ее и застало историческое событие, с описания которого пойдет наш рассказ.

Часть первая

УПЛОТНЕНИЕ

1

В феврале 1956 года, в день окончания XX съезда КПСС в долговском районном Доме железнодорожника местному партактиву читали закрытый доклад Хрущева о культе личности Сталина. Читал второй секретарь райкома Петр Климович Поросянинов, упитанный, краснощекий, лысый человек с толстыми, влажными, покрытыми белесой щетиной ушами, — фамилия его очень ему подходила. Фамилии, кстати, в Долгове у многих людей были значащие. Там в какой-то период одновременно сосуществовали начальник милиции Тюрягин, прокурор Строгий, его заместитель Вороватый, судья Шемякин и заведующий отделом народного образования Богдан Филиппович Не-читайло.

Поросянинов читал медленно, громко чмокая губами, как будто ел вишни и выплевывал косточки. При этом шепелявил и запинаясь на каждом слове, особенно если оно было иностранного происхождения.

Поросянинов читал, члены партактива слушали молча, с напряженными лицами, толстыми шеями и затылками, стриженными под полубокс.

Потом докладчику были заданы вопросы: будет ли чистка партии и что делать с портретами Сталина — снимать ли со стен и выдирать ли из книг, как это де-

лалось многократно с бывшими вождями революции и героями Гражданской войны? Поросянинов невольно повернул голову, покосился на портрет Сталина, висевший рядом с портретом Ленина, поежился, но сказал неуверенно: чистка не ожидается и с портретами пороть горячку не следует. Сталин, хотя и совершил некоторые отдельные неправильные поступки, был и остается выдающим (так сказал докладчик) деятелем нашей партии и мирового коммунистического движения и его заслуг у него никто отнимать не собирается.

Аглая Ревкина, испытав в жизни многое, к такому удару оказалась неподготовленной. Некоторые, выходя из клуба, слышали, как она, ни к кому отдельно не обращаясь, громко сказала:

— Какая грязь! Какая грязь!

Поскольку на улице в тот вечер никакой грязи не было, а было, наоборот, холодно, вьюжно и снежно, можно даже сказать — белоснежно, слова Аглаи никем не были восприняты буквально.

— Да, да, — поддержала ее Валентина Семеновна Бочкарева, плановик из Сельхозтехники. — И кому же мы верили!

Елена Муравьева (агентурная кличка — Мура) донесла об этом мимолетном диалоге местному отделению МГБ, и ее донесение было подтверждено самой Бочкаревой во время проведенной с нею беседы профилактического характера.

Но Бочкарева неправильно поняла Аглаю. Хотя о грязи было сказано в фигуральном смысле, но все же не в том, какой имела в виду Бочкарева.

Вернувшись домой, Аглая не могла найти себе места. Нет, не преступления Сталина, а критика его — вот

что больше всего ее потрясло. Как они смели, как они смели? Она ходила по всем трем комнатам своей квартиры, хлопала себя маленькими жесткими кулачками по маленьким жестким бедрам и повторяла вслух, обращаясь к невидимым оппонентам: «Как вы смели? Кто вы такие? На кого подняли руку?»

«А вы, надменные потомки...» — выплывало из закоулков памяти давно как будто забытое...

В Бога она никогда не верила, но сейчас несколько бы не удивилась, если бы у Поросянинова в процессе произнесения речи отнялся язык, или нос отвалился, или разбил бы его паралич. Слишком кощунственны были слова, произнесенные в Доме железнодорожника.

В Бога небесного она не верила, ее земным богом был Сталин. Его портрет, знаменитый, с раскуриваемой трубкой и зажженной спичкой у слегка опаленных усов, с довоенных времен висел у нее над письменным столом, во время войны кочевал с нею по партизанским лесам и вернулся на свое место. Скромный портрет в простой липовой рамке. В минуты сомнений относительно своих наиболее драматических поступков Аглая поднимала глаза к портрету, и товарищ Сталин, слегка прищурясь, с доброй мудрой усмешкой как бы внушал ей: да, Аглая, ты можешь это сделать, ты должна это сделать и я верю, что ты это сделаешь. Да, ей приходилось в жизни принимать трудные решения, жесткие и даже жестокие по отношению к разным людям, но делала она это ради партии, страны, народа и будущих поколений. Сталин учил ее, что ради высокой идеи стоит пожертвовать всем и нельзя жалеть никого.

Конечно, она уважала и других вождей, членов Политбюро и секретарей ЦК, но они в ее представле-

нии были все-таки люди. Очень умные, смелые, беззаветно преданные нашим идеалам, но люди. Они могли совершать ошибки в мыслях, словах или действиях, но только он один был недостижимо велик и непогрешим, и каждое его слово, каждый поступок были настолько гениальны, что современникам и потомкам следовало воспринимать их как безусловно правильные и обязательные к исполнению.

2

Большая статуя Сталина стояла в центре Долгова на площади Сталина, бывшей Соборной, бывшей Павших Борцов. Она была установлена в сорок девятом году к семидесятилетию Сталина, по ее, Аглаиной, инициативе. Аглая была в то время первым секретарем райкома, но даже ей пришлось преодолевать противодействие. Все понимали, какое важное воспитательное значение мог иметь памятник, и никто не посмел прямо выступить против, но нашлись скрытые враги народа и демагоги, которые возражали, ссылаясь на состояние послевоенной разрухи. Они без конца напоминали, что в районе имеют место перебои с поставками продовольствия, народ бедствует, голодает и пухнет и еще не пришло время таких грандиозных и непосильных для местного бюджета проектов.

Одним из главных противников памятника был ответственный редактор газеты «Большевицкие темпы» Вильгельм Леопольдович Лившиц. Он написал и опубликовал в своей газете статью «Бронза вместо хлеба». Где утверждал, что монументальная пропаганда — дело, конечно, важное, это Ленин еще подчеркивал, что дело важное, но имеем ли мы моральное пра-

во сегодня тратить на памятник столько денег, когда наш народ страдает? «Это чей же „наш“ — „ваш“?» — в письме в редакцию поинтересовалась Аглая и там же разъяснила, что наш русский народ терпеливый, он еще туже затянет пояс, он временно перестрадает, зато памятник, воздвигнутый им, останется на века. Лифшиц в своем ответе сообщил, что народ у нас у всех есть один — советский, памятник необходим, но его можно воздвигнуть позже, когда в стране и районе улучшится экономическая ситуация. При этом имел наглость записать себе в союзники самого Сталина. Который, по словам Лившица, будучи мудрым и скромным, никогда не одобрил бы подобного расточительства в столь трудный для родины час.

Конечно, это была демагогия. Лившиц, несомненно, знал, и все знали, но вслух не принято было говорить, что экономическая ситуация нетрудной будет только при коммунизме. И что же, нам сложить руки и ничего не строить, не пилить, не шить, не строгать, не ковать и не ваять до наступления коммунизма? Не на это ли космополит без роду и племени Лившиц рассчитывал? Но просчитался. Вскоре он был изобличен в связях с международной сионистской и шпионской организацией «Джойнт» и понес заслуженное наказание. В тихий предрассветный час подъехал к дому Лившица автомобиль, называемый в народе «черным вороном» или «черной марусей», и увез непрошеного ходатая за народ далеко от города Долгова.

Лифшиц был не одинок. Другие выражались не так прямо, но тоже намекали.

Преодолев сопротивление, Аглая добилась своего и памятник установила. Правда, не бронзовый, как предполагалось вначале, а чугунный. Потому что ва-

гон с бронзой, выйдя однажды из города Южноуральска, до города Долгова никогда не дошел. А куда дошел, до сих пор не известно. Чему некоторые злопыхатели радовались. Может быть, радовался тому же, сидя на тюремной параше, Вильгельм Леопольдович Лившиц, но радость его была преждевременной. Враги Аглаю знали, но недостаточно. Недоценили ее волю к победе и того, что от своей цели не отступала она никогда. Она поехала в Москву, посоветовалась со скульптором Максом Огородовым и ему же сделала заказ на статую из ковкого чугуна.

3

Сталину исполнилось семьдесят лет в среду, 21 декабря 1949 года.

На всю жизнь Аглая запомнила то темное, морозное и туманное утро, гранитный пьедестал и фигуру, укутанную в белое полотно и опутанную шпагатом.

Порывистый ветер трепал края полотна и вихрил сухой серый снег, который стлался и плыл тонким слоем низко над площадью. Несмотря на будний день, явилось все районное начальство — мужчины в одинаковых темных пальто и в пыжиковых шапках, а Аглая покрыла голову легким оренбургским платком. Кроме прочих, прибыл секретарь обкома Геннадий Кужельников, в суконном пальто на ватине с каракулевым воротником, в каракулевой папахе и в сапогах с галошами фабрики «Красный треугольник». Начальник районного МГБ Иван Кузьмич Дырохвост выделялся кожаным пальто на меху и кожаной фуражкой. Председатели колхозов, все как один, были краснощекие, красноносые, в полушубках, в бараньих шапках и ва-

ленках. Присутствовал, разумеется, и создатель памятника скульптор Огородов, доставивший себя к месту события из Москвы в тонком демисезонном пальто с красным шарфом, в надетом набекрень темно-синем бархатном берете и в лакированных туфлях, к данным погодным условиям совершенно не подходящих. Привез Огородов с собой и жену Зинаиду.

В нашем повествовании Зинаида вряд ли будет играть слишком большую роль, но раз уж попала на эти страницы, отметим, что была она женщиной полной, властной, старше Огородова на четыре года, обладала хриплым прокуреным голосом и была такой матерщинницей, какие в те целомудренные времена попадались не так часто, как ныне.

Огородова еще до войны она нашла на помойке. Так она сама говорила. На самом деле не на помойке, а в малаховском общежитии. Где он жил, будучи никому не известным студентом, приехав в Москву из Костромы или Калуги. Вид собой являл, как говорится, зачуханный. Перебивался с хлеба на воду от стипендии до стипендии, имея в собственности только то, что на нем, в чемодане и сам чемодан, фанерный, крытый масляной краской зеленого цвета, что-то вроде патронного ящика с ручкой из гнутой проволоки толщиной в пять миллиметров.

Зинаида привела будущего скульптора к себе в коммуналку, где обитала с престарелой ворчливой матерью, отмыла его, отчистила и стала с ним жить. Вместе пережили нищету его студенческих лет. Огородов тогда лепил и сушил в духовке свистелки в виде петушков, волков, медведей и зайцев, а она торговала ими на Тишинском рынке. Ни о какой другой скульптуре речи не было — где, из чего, для кого и что он бы лепил? Зато после войны, когда он вернулся с четырь-

мя медалями, с красной нашивкой за легкое ранение и со значком «Гвардия», Зинаида стала его везде проталкивать как фронтовика, героя и гения. Оперировав его заслугами, обивала пороги, заводила нужные связи, но грани не переходила (а если переходила, то в исключительных случаях, для дела). Добилась Огородову членства в Союзе художников, отдельной студии, квартиры в деревянном доме. С дровяным отоплением, но без соседей. Делала для него все, и он сам признавал, особенно в подпитии: «Зинка, золото, без тебя я бы пропал».

Зинаида следила, чтобы муж всегда был одет опрятно, но с некоторой вольностью, достойной художника. Сама шила ему байковые широкие блузы и штаны, бархатные береты, в которых, как она считала, он походил на Рембрандта. Готовила рыбные блюда, веря, что в рыбе много фосфора, способствующего усилению интеллекта, таланта и мужской потенции. В конце концов у Макса появились более или менее сносные условия для работы. В этих условиях он собирался лепить петушков и медведей с еще большим размахом, но тут Зинаида его как раз и переориентировала, сказав, что он теперь должен лепить вождей.

Из вождей Макс выбрал, понятно, Сталина и вскоре в производстве статуи вождя достиг очень больших успехов.

4

Собравшиеся топтались под пьедесталом, представляя собой одновременно участников церемонии и зрителей. По причине недружелюбной погоды посторонних зрителей не было, и те, кто пришел, выгляде-

ли не как вершители торжественной политической акции государственного значения, а как нетерпеливые люди, что явились на скорую руку похоронить бедного родственника.

Памятник открывала лично Аглая Степановна. Немногочисленные свидетели потом вспоминали, что речь ее была четкой, твердой, без малейших признаков волнения, хотя, конечно, она волновалась.

— Товарищи, — начала она простуженным и прокурренным голосом и потерла замерзший нос, — сегодня все советские люди, все прогрессивное человечество отмечает славный юбилей нашего величайшего современника, мудрого вождя, учителя народов, корифея всех наук, выдающегося полководца, всем нам родного и любимого товарища Сталина.

Она говорила, и собравшиеся привычно рукоплескали ей, реагируя на ключевые слова. Она кратко изложила своим слушателям то, что они знали и без нее, выучив на еженедельных политзанятиях. Пересказала биографию вождя с упоминанием фактов о трудном детстве, раннем участии в революционном движении, в Гражданской войне, в коллективизации, индустриализации, ликвидации кулачества, разгроме оппозиции и, наконец, в исторической победе над немецким фашизмом.

Ей удалось в немногих словах выразить мысль об исключительной пользе и необходимости, особенно в наши дни, всех видов пропаганды, и тем более пропаганды зримой, крупной, монументальной, рассчитанной на века.

Этот памятник, сказала она, поставленный, несмотря на противодействие наших врагов, будет стоять здесь тысячи лет, вдохновляя на новые подвиги грядущих строителей коммунизма.

Эту фразу не пропустил мимо ушей Геннадий Кужельников. «Что она хотела сказать? — подумал он. — Что советский народ еще тысячу лет будет строить коммунизм? Глупая оговорка или вредительство?» Он не додумал еще своей мысли, когда Аглая объявила открытие памятника, вручила ему большие ножницы, какими стригут баранов. Кужельников, не снимая перчаток, взял ножницы двумя руками, сомкнул лезвия, и концы шпагата разлетелись, затрепетали на ветру. Покрывало стянули с большим трудом, потому что оно надувалось, как парашют, и вырывалось из рук. А когда его все-таки одолели, участники события слегка попятнулись, глянули на памятник, ахнули в один выдох и застыли.

Все эти люди, кроме Огородова и Зинаиды, ничего не смыслили ни в каком искусстве, а в скульптуре тем более, но даже они увидели, что перед ними не просто скульптура, а что-то необыкновенное. Сталин был изваян в полной парадной форме с погонами генералиссимуса, в шинели, слегка распахнутой, чтоб видны были китель и ордена, с правой рукой, поднятой, очевидно, для приветствия проходящих мимо народных масс, и левой, опущенной, со сжатыми в ней перчатками.

Сталин смотрел на собравшихся как живой. Смотрел сверху вниз, таинственно усмехался в усы и, как явственно всем казалось, помахивал правой рукой, шевелил левой и похлопывал перчатками по колену.

Макс Огородов сначала собственным глазам не поверил, а когда поверил, открыл широко рот и застыл с этим дурацким, можно сказать, выражением, словно сам немедленно очугунел.

Все последние годы лепил он Сталина, только Сталина, никого, кроме Сталина, но зато Сталина во всех видах: голову Сталина, бюст Сталина, Сталина в пол-

ный рост, Сталина стоящего и сидящего (только лежащего не лепил), во френче, в гимнастерке, в длиннополой кавалерийской шинели, а в последнее время — в форме генералиссимуса. В своем деле он в конце концов так наострился, что мог слепить Иосифа Виссарионовича с закрытыми глазами.

Власти одобряли его как очень хорошего мастера, в совершенстве освоившего метод социалистического реализма. Его ценили, ставили в пример другим, поощряли морально, материально и комбинированно, награждая чинами, орденами, премиями, хвалебными статьями в газетах, включением его имени в энциклопедии, в списки выдающихся классиков и в списки получателей разных дефицитных продуктов питания. Но коллеги считали его крепким середнячком, холодным ремесленником, даже халтурщиком, и вообще, когда заходила о нем речь, говорили: «А, этот!» И махали рукой, не предполагая в нем Божьего дара и думая, что он и сам себе цену настоящую знает, делишки свои обтяпывает, а на высокое место в искусстве не зарится. И это была их большая ошибка. На самом деле, отдавая себе отчет в том, что делает чепуху, зарился, очень даже зарился скульптор Огородов на высокое место, зарился, может быть, на самый Олимп и не халтурил, лепя очередного Сталина, а творил, колдовал, священнодействовал. Каждый раз чуть-чуть менял осанку, наклон головы, прищур глаз и сомкнутость губ. Делая последние штрихи, отбегал подальше, подбегал поближе, иной раз закрывал глаза и по наитию где-то что-то вминал, поджимал, подправлял, подковыривал ногтем в безумной надежде, что чудо произойдет вдруг каким-то случайным образом. Потом снова отбегал, подбегал, дышал на свое творение между сложенными в трубку двумя ладонями, — мо-

жет, это смешно бы со стороны показалось, но он душу пытался вдохнуть в свое творение. Однако творение опять получалось безжизненным — не было в нем ни тайны, ни чуда. Огородов страдал, иногда даже плакал, дергал себя за редкие волосы, стучал кулаками по голове и обзывал себя бездарью, в чем все-таки был не прав: бездарен тот, кто бездарности своей не ощущает.

И эта скульптура, пока была в мастерской, тоже казалась Огородову заурядной, но теперь, возведенная на пьедестал (вот чего ей не хватало!), она ожила и смотрела вниз на всех и на своего создателя насмешливо и победно и с таким видом (в некотором смысле даже нахальным), будто сама себя сотворила.

— Боже! Боже! — не сводя глаз со статуи, бормотал пораженный создатель. — Он ведь живой, живой, ведь правда живой? — спрашивал он сам себя, удивляясь, как же раньше этого не заметил.

— Успокойся! — сказала мужу Зинаида тихо, но властно и сунула в рот папиросу, мундштук которой зазеленел сосулькой.

— Нет, — сказал Огородов, неизвестно что отрицая, и, протянувши руки к творению своему, крикнул: — Ну! — И еще раз: — Ну! Ну!

— Вы кому это? — высокомерно удивился Кужельников.

— Не вам, — отмахнулся Огородов, не проявив внимания к столь высокому чину. И снова крикнул: — Ну! Ну! Ну!

Стоявшие рядом с ним слегка оторопели и на всякий случай отступили от Огородова как от возможного психа, а он с воздетыми страстно руками шагнул к монументу и закричал ему:

— Ну, скажи что-нибудь!